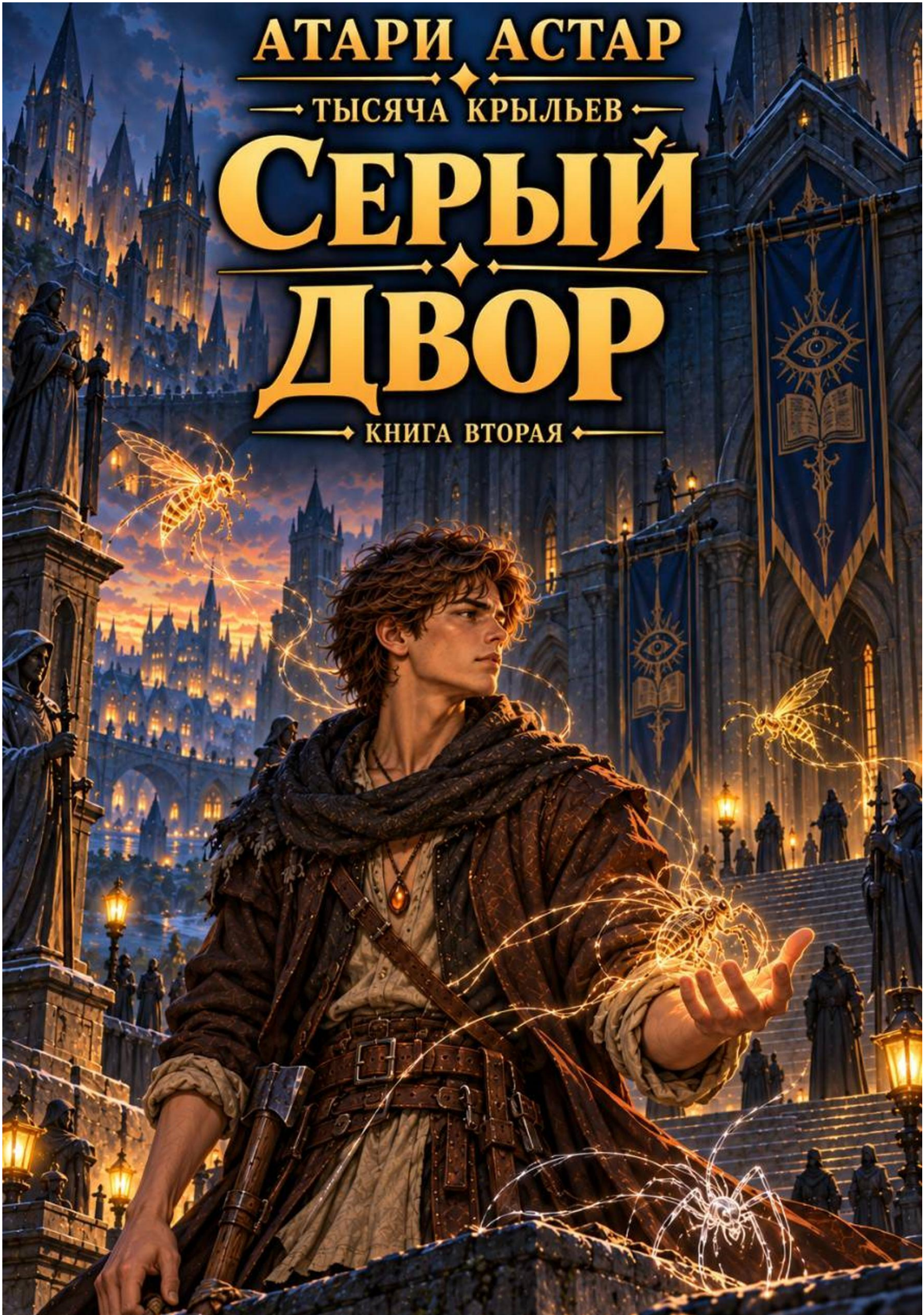
АТАРИ АСТАР
ТЫСЯЧА КРЫЛЬЕВ
СЕРЫЙ ДВОР
КНИГА ВТОРАЯ

Тысяча крыльев

Атари Астар

Серый двор

«Тайниковский»
2026

Астар А.

Серый двор / А. Астар — «Тайниковский», 2026 — (Тысяча крыльев)

Я думал, что самое сложное — научиться управлять магическими насекомыми. Как же я ошибался.Теперь у меня есть патент, место в гильдии и десяток жуков, способных прогрызть дерево быстрее топора. А ещё — приглашение в имперскую столицу, от которого нельзя отказаться.Здесь магия принадлежит знатным домам, чужие тайны стоят дороже золота, а люди в сером решают, кому позволено пользоваться даром.И почему-то им очень нужен обычный лесоруб из провинции.Вот только я не собираюсь становиться ничьей собственностью.Впереди — магическая Академия, опасные знакомства, секреты Серого двора и враги, против которых моих жуков явно недостаточно.Придётся придумать новых.Потому что одно дело — прогрызть деревянную дверь. И совсем другое — прогрызть систему, которая веками считала себя нерушимой.

© Астар А., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 24
Г 31
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Атари Астар
Серый двор

Глава 1

Под простынёй было холоднее, чем без неё, и Сорен утверждал, что это закон природы.

— Простыня белая, — объяснял он шёпотом, лёжа на льду в шаге от меня. — Белое отражает. Значит, тепло от тебя отражается обратно в лёд. А лёд его ест. Я это у Корра вычитал.

— Корр такого не писал.

— Корр много чего не писал, а я всё равно вычитал.

Мы лежали посреди Щучьего плёса, в полумиле ниже Истмара, где Ярна перед зимой разливается широко и лениво, а замерзает — криво, горбами и трещинами, как плохо застеленная кровать. Над нами было чёрное небо в звёздах и молодой месяц, тонкий, как стружка из-под рубанка. Под нами — лёд толщиной в две ладони. Под льдом, глубоко и неторопливо, шла река; если прижаться щекой, было слышно, как она ворочается.

Рия лежала по другую сторону от меня, завернувшись в простыню с головой, как в саван. Из-под края торчал только нос, красный от мороза, и оттуда шёл пар.

— Если вы оба сейчас не замолчите, — произнесла она из простыни. — Я вас подожгу. Чуть-чуть. Чтоб согрелись.

— Видишь, — хмыкнул Сорен. — Кузнечиха о нас заботится.

Бо на лёд не пошёл. Бо ждал на берегу, в ивняке, у самой кромки, и это было решено ещё днём, при всех, за столом в опоре, и занесено Исой в книгу контракта отдельной строчкой: «Бо — на лёд не ходит». Потому что Бо, когда пугается или злится, становится тяжёлым, как скала, а скала и лёд в две ладони — плохие соседи. Бо не спорил. Бо сказал: «Лошади», — и все поняли, что он возьмёт на себя лошадей.

Я держал восемь жуков.

Это было удобно и немного стыдно. Удобно — потому что восемь держались легко, как восемь пальцев на топорище. Каждый сидел там, где я его оставил после полудня: в основании еловой вешки, одной из тех, что торчали из снега цепочкой через весь плёс. Контрабандисты расставили их ещё в начале зимы — вешки отмечали крепкий лёд. Свои вешки. Для своих саней.

Стыдно — потому что я мог больше. Корр мерил, Уна мерила, я сам мерил, отпуская и призывая снова, пока не начинало мутить. Выходило десять. Десять жуков я мог держать, если очень надо. Девятый и десятый садились на ладонь тяжело, как мокрые рукавицы, но садились.

Только на девятом внутри начиналось другое.

Я не знаю, как это описать лучше. Будто подходишь к краю обрыва в темноте и чувствуешь не страх, а тягу. Сладкую, тёплую, огромную. Как в пещере под мостом, когда через меня шёл чужой эфир Сердца, я держал десять жуков, а снизу поднималось тёплое и шептало, что можно сто, и тысячу, и весь мир, — а потом я два дня лежал пластом и не помнил, как меня звали. Когда я звал девятого, эта тяга поднимала голову. Я её слышал. Она пахла сладко.

Поэтому я держал восемь.

План был мой. Это было новое, и от этого у меня с полудня сосало под ложечкой сильнее, чем от холода.

Раньше планы строили Сорен, Уна или Иса, а я делал то, что скажут, и делал хорошо. Этот контракт — «Щучий плёс, сани, кристаллы, шесть ауреонов от Магистрата и десятая часть от изъятого» — Иса положила на стол передо мной, а не перед Сореном.

— Твой, — сказала она. — У тебя патент. Ты и думай.

— А если я придумаю плохо?

— Тогда я вычту из твоей доли всё, что потеряем, — сказала Иса. — Думай хорошо.

Я думал хорошо. Два дня ходил по плёсу с Сореном, стучал по льду обухом топора, слушал, как он отзывается. Лёд на реке — не доска, у него нет волокон, мои жуки его не берут. Зато я вырос на реке. Я с отцом сплавлял лес на Бродах, я знал, как Ярна замерзает, где у неё тёплые струи и почему над омутом лёд всегда тоньше, хоть снаружи и не видно. И я знал про их мага.

Контрабандисты возили кристаллы с северных копей, мимо таможни Магистрата, по льду, ночью, раз в две недели. Стража дважды пыталась их взять и дважды проваливалась под лёд сама — буквально. Потому что сани шли там, где лёд не держит и пешего. Шли — и не проваливались. Значит, у них был кто-то, кто этот лёд держал.

— Морозник, — сказал Сорен ещё в опоре. — Почерк на холод. Идёт впереди, и под ним лёд твердеет. Ханна твоя такая, только посильнее.

— Не моя, — ответил я. — Она у Бренна невеста. То есть сестра невесты.

— Тем более.

Вот на этом я и построил план. Если лёд держит маг — надо, чтобы в нужный миг маг перестал думать о льде.

* * *

Они появились за полночь, как и обещал наш осведомитель из таможенных писарей.

Сначала я услышал их через жуков. Вешки были еловые, сухие, вмёрзшие в лёд на ладонь, и по ним, как по струнам, пришла дрожь: копыта. Шипастые подковы, мелкий частый стук. Три упряжки. Полозья — шорох, долгий, шипящий. И шаги впереди, лёгкие, ровные, одного человека.

— Идут, — шепнул я.

Сорен перестал шутить. Он всегда переставал сразу, будто закрывал в себе дверь.

Первой шла не лошадь, а человек. Невысокий, закутанный по глаза, в меховой шапке, с посохом в руке. Шёл он точно по вешкам, от одной к другой, и там, где он ставил ногу, лёд на миг вспыхивал бледно-синим, будто изнутри. Синий свет расходился от его следа кругами и гас. Я видел это краем глаза, из-под простыни, и видел, что лёд за ним становится толще. Он его не держал — он его наращивал.

Следом шли сани. Трое, одни за другими, в двадцати шагах. Низкие, тяжёлые, с дощатыми бортами, обитые по углам железом. На каждых — по двое: возница и стрелок с арбалетом на коленях. На передних — ещё сундук. Окованный, чёрный, с навесным замком. Кони шли медленно, осторожно, фыркали паром.

Я вёл их по вешкам, как по бусам. Первая вешка — жук в ней лежал тихо, уснувший. Вторая. Третья. Когда морозник проходил мимо, я чувствовал его через дерево: лёгкий, сухой, холодный, как сквозняк из погреба. Искра у него была ровная, не сильная. Кандел, не больше. Держал он лёд без труда — привычно, как человек несёт ведро, не думая о ведре.

Пятая вешка. Шестая.

За шестой вешкой был омут.

Днём мы с Сореном выдернули четыре их вешки и воткнули заново — на двадцать шагов левее. Крюк получился плавный, почти незаметный в темноте. Он вёл сани прямо над Щучьей ямой, где Ярна поворачивает и уходит на глубину, где тёплая струя снизу подъедает лёд всю зиму. Днём я простучал там каждый шаг. Лёд над ямой был в полторы ладони и звенел пусто. Пешего выдержит. Трое тяжёлых саней — только если его держит морозник.

Морозник свернул за вешками. Не задумался. Лёд под ним вспыхнул синим — и продолжал вспыхивать.

— Сейчас? — одними губами спросил Сорен.

— Ещё десять шагов.

Передние сани въехали на яму. Лёд под ними глухо ухнул — я почувствовал это через вешку, как удар в живот, — но выдержал: синие круги от ног морозника разбегались под полозьями, лёд твердел, держал. Вторые сани. Третьи.

Все трое над ямой.

— Сейчас, — сказал я. И разбудил жуков.

* * *

Двое сидели в вешке прямо у ног морозника. Я велел им только одно: кусать.

Они прыгнули ему на лицо, как тогда на Шипа в переулке. Один в щёку, другой в шею, под край шапки. Жвалы у древоточца острые, как у стамески, а кусает он жгуче, будто прижгли. Морозник заорал и схватился за лицо. Посох упал. Синий свет под его ногами мигнул, дрогнул — и погас.

Лёд под передними санями ухнул второй раз. По-другому. Длинно, с треском, как рвётся мокрый холст.

Остальных шестерых я пустил в сани.

Четверо ещё днём сидели в вешках вдоль крюка, и, когда сани проезжали мимо, я велел им прыгнуть. Жуки неуклюжи в полёте, но на три шага их хватало, и все четверо были теперь в досках — в бортах, в оглоблях.

Я велел грызть оглобли. Не борта, не полозья — оглобли, те две жерди, которыми лошадь привязана к саням. Древоточец режет сухую ель, как тёплый нож масло. Два вдоха — надрез. Ещё два — и дальше дерево ломает само, если лошадь рванёт.

Лошадь рванула. Лошади всегда рвут, когда под ними трещит лёд.

Передние сани пошли под воду кормой, медленно, почти вежливо. Сундук поехал по доскам и ударил в задний борт. Возница прыгнул на лёд, стрелок — за ним. А кони, почуяв свободу, — оглобли лопнули у самых хомутов, — рванули вперёд, к берегу, волоча за собой обломки, и лёд под их шипастыми подковами выдержал, потому что лошадь без саней легче, чем лошадь с санями.

— Кузнечиха, — крикнул Сорен и вскочил.

Рия выпрямилась над своей простынёй, и на её ладони раскрылись искры. Не злые, как раньше, а ровные, красные, частые, как окалина из-под молота. Она не швыряла их горстью. Она била — раз, раз, раз — в постромки вторых саней. Кожаные ремни вспыхивали и лопались один за другим, и вторая пара коней, освободившись, понеслась вслед за первой.

Третьи сани встали. Возница оказался умнее всех: он спрыгнул сам и поднял руки.

Стрелки — нет.

Их было трое на льду, и у всех были арбалеты. Один поднял свой — на Рию, освещённую собственными искрами, как фонарь.

Сорен был уже там.

Я много раз видел, как он дерётся. И каждый раз смотрел, как в первый. Сорен не бегал — он будто оказывался там где нужно. Вот он у простыни, а вот он уже у стрелка, и арбалет смотрит в небо, а болт уходит к звёздам, а нож Сорена, повёрнутый рукоятью вперёд, бьёт стрелка в запястье. Сорен видит движение на полвдоха раньше, чем оно начнётся, — и на льду, где все скользят и ищут опору, это было нечестно. Второй стрелок только успел развернуться, а Сорен уже подсёк ему ноги. Третий выстрелил — в то место, где Сорен был полвдоха назад.

— Мимо, — сообщил ему Сорен и ударил рукоятью в висок.

Я тем временем занимался морозником.

Он стоял на коленях на краю разлома, держась за шею, где жук оставил красный жгучий след. Посох лежал в двух шагах. Он потянулся к посоху — я пустил на посох вдову.

Она упала с моей ладони на нити, как капля с кромки крыши, и поехала вниз, на лёд, к посоху. Я считал. Раз, два — вдова обошла посох у набалдашника. Три, четыре — нить ко

льду, к вмёрзшей щепке. Пять, шесть — ещё виток. Когда морозник дотянулся до посоха и рванул, посох не двинулся. Жемчужная нить звенела на нём, как струна.

— Что за… — начал морозник.

Вторая вдова была уже у него на запястье.

Он не был Угрём. С него ничего не соскальзывало. Он просто сидел и смотрел, как паутина светится у него на руках, и лицо у него было такое, будто ему показывают ярмарочный фокус, а он не понимает, в чём подвох. Десять вдохов — руки. Ещё десять — к посоху, к той же щепке. Он дёрнулся раз, другой — и перестал.

— Не дёргайся, — посоветовал я. — Она держит, пока держу я. А я упрямый.

— Лесоруб, — позвал Сорен. — У нас тут ещё немного осталось.

* * *

Немного — это был возница передних саней.

Он выплыл из разлома, хватаясь за край льда, и не стал вылезать. Он повернул обратно — к саням, которые уже ушли под воду почти целиком, так что торчали только передок и угол сундука. Нырнул.

— Сундук, — произнес Сорен. — Он за сундуком.

— Утонет же.

— Может, ему лучше утонуть, чем вернуться без сундука, — ответил Сорен. — Бывают такие хозяева.

Я шагнул к разлому. Лёд вокруг ямы трещал и оседал; из трещин выплёскивалась чёрная вода и тут же схватывалась ледяной коркой. Внизу, под водой, мои жуки ещё сидели в досках саней — я чувствовал их, как чувствуешь пальцы в ледяной воде: далеко, туго, больно. Я отпустил их. Двое вернулись нитями в ладонь, двое не успели — развеялись, и в голове дважды кольнуло, коротко, как иголкой.

Шесть.

Возница вынырнул, хватая ртом воздух. Без сундука. Сорен лёг на лёд, пополз к нему, как по тонкому, растопырив руки и ноги, и протянул ему конец своего ремня.

А на берегу закричали лошади.

Я обернулся.

Бо стоял у кромки ивняка, и к нему неслись все четыре коня разом — с обломками оглобель, с болтающимися постромками, с глазами, белыми от страха. Бо развёл руки. Он хотел их остановить, как останавливают табун в загоне, — встать поперёк, большим, и ждать, пока кони сами упрутся.

Кони не уперлись. Кони свернули в последний миг и понеслись вдоль берега, по льду, и Бо, не подумав, шагнул за ними. Один шаг, второй. Он схватил переднего коня за оборванный хомут — и конь рванул, и Бо, чтобы не упасть, сделал то, что делал всю жизнь, когда его пытались сдвинуть.

Он стал тяжёлым.

Я услышал это даже без жуков. Лёд под Бо не треснул — он лопнул, весь, кругом, с таким звуком, будто кто-то уронил на пол гору посуды. И Бо ушёл вниз. Сразу. Весь. Вместе с хомутом в руке.

Конь, освобождённый, унёсся в ночь.

— Бо! — закричала Рия.

Мы побежали. Сорен — таща за ремень мокрого, трясущегося возницу, которого так и не отпустил. Рия — с горящими искрами на ладони. Я — сам не знаю как, с простынёй, которая волочилась за мной, зацепившись за пояс.

На том месте, где стоял Бо, была круглая чёрная дыра. Вода в ней была спокойная. Ни пузырей, ни всплеска.

— Там же мелко, — сказал Сорен. — Там же у берега по пояс.

— Он тяжёлый, — сказал я. — Он… он не всплывёт. Он не умеет не быть тяжёлым, когда страшно.

Рия легла на край и сунула руку в воду по плечо, с искрами, — они зашипели и погасли.

Я выпустил жука в воду. Древоточцы не видят в воде, но они чувствуют дерево, а на дне у берега всегда полно дерева — топляк, коряги, старые сваи. Жук ушёл вниз, и через него я почувствовал дно. Коряга. Ещё коряга. Ил. И что-то, что шло по илу. Медленно. Тяжело. Прочь от дыры, к берегу, наискосок, каждый шаг — как удар колотушки по сваям.

— Он идёт, — сказал я. — По дну. К берегу.

Сорен посмотрел на меня. Рия посмотрела на меня. Возница посмотрел на нас троих, как на сумасшедших.

Шагах в двадцати ниже по берегу, у самого ивняка, лёд вспучился горбом. Треснул. И из-под него, как медведь из берлоги, в шуме воды и ледяных осколков поднялся Бо. Мокрый насквозь, с сосульками, которые прямо на глазах нарастали на бороде. В правой руке у него всё ещё был конский хомут.

Бо постоял. Отряхнулся, как собака. Посмотрел на нас.

— Мокро, — сообщил он.

Сорен сел прямо на лёд и захохотал. Он хохотал так, что у него потекли слёзы и тут же замёрзли на щеках, и мокрый возница рядом с ним тоже начал смеяться, нервно, икая, сам не понимая почему. Рия закрыла лицо руками. Я стоял с простынёй на поясе и чувствовал, как у меня трясутся колени, и это был не холод.

Бо положил хомут на снег, аккуратно, как кладут чужую вещь. Потом повернулся к реке и пошёл обратно в дыру.

— Бо! Ты куда?!

— Сундук, — сказал Бо, не оборачиваясь, и ушёл под лёд по грудь, по шею, с головой.

* * *

Сундук он вынес через минуту. На плече. Как вязанку дров.

Вода лилась из-под окованной крышки ручьями. Бо поставил сундук на берег, в снег, сел рядом и начал медленно, с достоинством, стучать зубами.

— Костёр, — сказала Рия, и это был не вопрос. Она собрала сухой ивняк, наломала веток, сложила шалашиком и сунула внутрь ладонь с искрами. Ветки занялись сразу, ровно, как в горне. Бо придвинулся к огню, и от него пошёл пар, как от бани.

Пленных мы связали всех. Верёвкой — я не собирался держать вдов на пятерых до утра. Морозника оставил в паутине: ему я верёвке не доверял. Он сидел у костра, спелёнутый от запястий до локтей, с распухшим, красным пятном на шее, и смотрел на меня исподлобья.

— Ты кто такой? — спросил он наконец.

— Лесоруб, — сказал я.

— Лесорубы так не делают.

— Делают, — усмехнулся Сорен, стуча зубами у костра. — Просто ты раньше не встречал правильных.

Жуки у меня остались: шесть, и все шесть сидели на рукаве, тусклые, усталые, как я сам. Я держал их и чувствовал, как внутри, на дне, ворочается то самое — сладкое, огромное, которое хотело, чтобы я позвал ещё. Девятого. Десятого. Одиннадцатого. Я сжал кулак, и оно улеглось.

Шесть. Хватит.

— Замок, — произнес Сорен. — Лесоруб, твои жуки замок возьмут?

Я посадил жука на сундук. Он прошёлся по дубовым доскам — дерево было мокрое, тяжёлое, но крепкое, — дошёл до железной полосы, до петли, до замка. Попробовал. Жвалы заскрипели по железу, как нож по точилу, и соскользнули. Ещё раз. Скрип.

Не берут.

Я вспомнил гвоздь в ящике Корра. Двадцать вдохов, царапина на волос, кромка жвал, блеснувшая серым. «Показалось». Сейчас ничего не блестело. Жвалы были бурые, честные, и честно тупились о железо.

— Не берут, — сказал я.

— Тогда по-простому, — сказал Сорен.

— По-простому — это как?

— Бо, — сказал Сорен.

Бо встал, подошёл к сундуку, поднял его над головой и бросил на лёд. Сундук крякнул. Окованные углы остались целы, железные полосы тоже, а вот дубовые доски между ними разошлись, будто их кто-то выдохнул. Бо поднял сундук ещё раз.

— Не надо, — крикнул я. — Хватит, Бо, там кристаллы. Если их побить…

Бо посмотрел на меня. Опустил сундук. И я впервые за эту ночь увидел, как он доволен.

Я сунул жуков в щель между разошедшимися досками. Дерево взяли за четыре вдоха. Крышка отвалилась набок, на петлях, которые так и остались целыми, сцепленные замком сами с собой.

Кристаллы лежали в соломе, мокрые, голубые, каждый с кулак. Много. Больше, чем я видел в одном месте, кроме Службы Наполнения. Рия присвистнула. Сорен начал считать и сбился.

А сверху, в промасленной коже, лежала книга. Толстая, узкая, в чёрном переплёте — книга учёта, какую Иса завела бы, если бы была контрабандистом. Даты. Вес. Цена. Имена — не имена, а буквы. И кому.

Я раскрыл её у огня. Страницы были сырыми по краям, но внутри, в коже, остались сухими. Почерк — мелкий, торговый, аккуратный. Строчка за строчкой: «Партия седьмая. Сорок два. Получено». «Партия восьмая. Тридцать шесть. Получено». И на каждой строчке, у слова «Получено», — оттиск. Маленький, чернильный, будто печать ставили не глядя, привычно, сто раз.

Раскрытая книга. И над ней — глаз.

Я узнал его сразу. Этот оттиск лежал у меня в комнате под опорой, на сером сургуче письма, которое велело мне явиться в столицу не позднее последнего дня весны.

— Сорен, — позвал я.

Он наклонился через моё плечо. Долго смотрел. Потом медленно выпрямился и посмотрел на морозника, спелёнутого жемчугом у костра.

Морозник отвёл глаза.

— Кому вы везли кристаллы? — спросил Сорен. Тихо. Без улыбки. Тем голосом, которым он говорил про Мамашу Клэй.

Морозник молчал. Потом облизал треснувшие от мороза губы и сказал, глядя в огонь:

— Если я отвечу, лесоруб, твоя паутина мне уже не понадобится. Меня и так найдут.

— Кто? — спросил я.

Он поднял на меня глаза. В них было то, чего не было, даже когда под ним трещал лёд.

— Те, кто в сером, — сказал он.

Глава 2

Морозник исчез из кордегардии на второй день.

Не сбежал. Сержант, тот самый, усатый, который когда-то принимал у меня спелёнутого Угря у ямы, пришёл к опоре сам и рассказал об этом, стоя в дверях и не снимая шапки. Ночью к кордегардии подъехала карета без гербов. Двое в серых плащах показали бумагу с печатью, какую сержант видел второй раз в жизни, и забрали морозника вместе с книгой учёта. Сундук с кристаллами оставили Магистрату. Про сундук они даже не спросили.

— Бумага была настоящая, — сказал сержант, глядя куда-то поверх наших голов. — Я бы и рад не отдать. Но настоящая.

— Мы знаем, — ответила Иса.

— И ещё, — Сержант помялся. — Тот, что постарше, спросил, кто морозника взял. Я сказал — Седьмая Опора. Он кивнул. А потом спросил: «Лесоруб был?» — Сержант наконец посмотрел на меня. — Я сказал — был. Зря, наверное.

— Не зря, — произнесла Уна от очага. — Они и так знали.

Сержант ушёл. Иса закрыла за ним дверь, вернулась к столу и некоторое время смотрела на то место, где ещё вчера лежала книга учёта. Потом вздохнула и придвинула к себе другую книгу, свою.

— Шесть ауреонов от Магистрата, — произнесла она, раскрывая её. — Десятая часть от сундука — Магистрат оценит к концу месяца, я думаю, ещё ауреона четыре. Бо — отдельно: два сола на сушку.

— На что? — спросил я.

— На сушку, — сказала Иса. — Он в сапогах воду домой принёс. Корр до сих пор выливает её из мастерской.

Из-под пола, словно в ответ, донёсся плеск и приглушённая ругань Корра.

Бо сидел на своём диване, завернувшись в два одеяла и в Унин платок, пил горячее вино с мёдом из кружки размером с ведро и выглядел совершенно счастливым. С той ночи он сказал мне одно слово. Утром, когда я спустился, он поднял на меня глаза из-под одеял и сказал: «План». И кивнул. От Бо это была речь на полчаса.

— А мне? — спросил Сорен. — Мне тоже на сушку. Я лежал на льду под простынёй.

— Ты лежал под простынёй по собственному желанию, — сказала Иса, не поднимая головы. — И врал, что простыня греет. Мне Рия рассказала.

— Я не врал. Я заблуждался.

Иса лизнула губы.

— Надо же, — усмехнуласьона удивлённо. — Не горько.

* * *

Корр забрал меня в мастерскую сразу после обеда.

Мастерская у него пахла, как всегда, горелой медью, смолой и чем-то кислым, что лучше было не нюхать. Но сегодня к этому добавилась речная вода: в углу стояли три ведра, и в полу, между досками, ещё блестели лужицы. Корр перешагивал их, не глядя, и бормотал что-то про Бо и про то, что в следующий раз он сделает для Бо поплавок из пустой бочки и приклепает намертво.

— Садись, — произнес он и сунул мне табурет. — Руку.

Я сел. Вытянул руку ладонью вверх. Корр сел напротив, придвинулся так близко, что я видел каждую рыжую щетинку на его отрастающих бровях, и уставился мне в ладонь. Зрачки у него расширились, и вокруг них выступил цветной ободок — он смотрел мой эфир.

— Зови, — сказал он. — По одному. Медленно. Я считаю.

Я звал. Первый древоточец сел на ладонь за вдох. Второй. Третий. Я пересаживал их на стол, где они выстраивались в ряд, шевеля усами, и звал следующих. Пятый. Шестой. Седьмой — чуть медленнее, как седьмое полено, которое кладёшь на уже высокую поленницу. Восьмой.

— Дальше, — сказал Корр.

Девятый сплетался, как сквозь воду. Я чувствовал каждую нить, будто тянул её из себя руками. И вместе с ним, как всегда, внутри поднялось то. Тёплое, огромное, сладкое. Оно шло откуда-то снизу, из самого дна, где в пещере под мостом стоял чужой эфир Сердца, и шептало без слов: не надо тянуть. Не надо трудиться. Можно просто открыть — и хлынет.

Я сжал зубы и доплёл девятого. Сам. По нитке.

— Дальше, — сказал Корр. Голос у него стал другой, тише.

Десятый. Это было как поднимать бревно, которое тебе не по росту. Я его поднял. Он сел на ладонь, тяжёлый, тусклый, с чуть кривыми жвалами. Внутри, на самом дне, сладкое подступило к горлу, и мне на миг показалось, что если я сейчас моргну, то уже не я буду держать этих жуков, а оно.

— Одиннадцатый, — сказал Корр.

— Нет.

— Одиннадцатый, мальчик. Попробуй. Я смотрю.

Я попробовал. Ладонь зачесалась, нити пошли — и оно хлынуло навстречу, тёплой волной, как вода через прорванную запруду. Я увидел, как нити на ладони вспыхивают ярче, чем мои, чище, быстрее. Как одиннадцатый начинает сплетаться сам — не из меня, а через меня.

Я оборвал нити. Резко, как обрубают сук. Одиннадцатый распался в воздухе светящейся пылью, а в голову мне ударило так, будто я наступил на грабли.

Когда я открыл глаза, я лежал на полу. В опилках, в луже речной воды. Корр сидел надо мной на корточках и держал меня за запястье, как лекарь.

— Десять, — резюмировал он. — Десять твоих. Я видел.

— А одиннадцатый?

— А одиннадцатый был не твой, — Корр отпустил моё запястье и сел на пол рядом со мной, прямо в лужу, не заметив. — Цвет, мальчик. Твой бурый — густой, как смола, я тебе говорил. А на одиннадцатом через тебя пошёл голубой. Обезличенный. Как в кристаллах Службы. Как в Сердце, — он потёр щетину над глазами. — Сердце ты расколол. А то, что оно успело в тебя налить, лежит у тебя на дне. Не твоё. Чужое. И оно хочет наружу.

Я лежал в опилках и смотрел на потолочную балку.

— В пещере, — произнес я. — Когда я тянулся за одиннадцатым. Это было оно?

— Это было Сердце, — ответил Корр. — Оно тебе предлагало: бери, сколько хочешь. Ты не взял, — он хмыкнул. — Мало кто не берёт. Каждый маг, которому хоть раз предлагали чужую силу, потом всю жизнь думает, что зря отказался.

— И что мне делать?

— Бояться, — ответил Корр неожиданно серьёзно. — Правильно делаешь, что боишься. Тот, кто не боится чужого на дне, — тот потом сам становится Сердцем. Пьёт всё вокруг и думает, что так и надо, — он встал, отряхнул штаны, обнаружил, что они мокрые, и выругался. — Десять — твоя честная цифра. Будешь расти — будет больше. Своего. А это… — он ткнул пальцем мне в грудь, — само уйдёт. Или сгорит, когда пойдёшь в следующий прожиг. Уна скажет лучше.

Я сел. Десять жуков на столе смотрели на меня узелками глаз. Они все были мои. Все десять.

Мне почему-то стало легче.

* * *

Второй опыт Корр придумал сам, и он ему нравился гораздо больше первого.

— Больше эфира — больше жук, — объяснил он, расставляя на столе какие-то банки, словно готовился к пиру. — Простой закон. Кузнец кладёт в горн больше угля — получает больше жара. Лить больше воды в ведро — вода поднимается выше. Ты вкладываешь в древоточца, скажем, одну меру. Вложи две. Посмотрим, что выйдет.

— А если ничего хорошего?

— Тогда я запишу, что ничего хорошего, — ответил Корр. — Это тоже знание. Давай.

Я позвал древоточца и, пока нити шли, вложил в них больше. Не открыл дно — сладкое я держал за дверью, сжав зубы. Просто давил сильнее, своим, как давишь на пилу, когда дерево упрямое.

Нити пошли толще. Жук сплетался быстро и рос. Вот он с половину ладони, как всегда. Вот больше. Вот с ладонь. Корр наклонился над ним с лупой, и в его глазах плясал цветной ободок.

— Ещё, — прошептал он.

Жук продолжал расти. Но не так, как растёт дерево, а так, как надувается бычий пузырь, если в него дуть. Надкрылья разошлись. Нити на боках истончились и стали видны насквозь. Жвалы остались маленькими, прежними, и смешно торчали из огромной головы. Он был с две ладони, круглый, прозрачный, раздутый, и шевелил лапками в воздухе, не доставая до стола.

— Корр, — сказал я. — Мне кажется…

Жук лопнул.

Не развеялся, как обычно, тихо разматываясь нитями. Лопнул, как пузырь, с хлопком, и бурые нити брызнули во все стороны светящимися искрами. Одна искра попала Корру прямо в лицо.

Когда дым рассеялся, Корр сидел на табурете неподвижно и моргал. Брови у него, которые только-только начали отрастать после прошлого раза, снова исчезли. От них осталась лёгкая рыжая копоть.

Он медленно поднял руку и потрогал то место, где были брови. Потом посмотрел на пальцы.

— Великолепно, — произнес он с чувством. — Просто великолепно. Ты понимаешь, мальчик? Больше — не значит лучше. Больше — значит пузырь. Надо что-то другое. Надо… — он схватил доску и мел. — Не знаю ещё что. Но не больше.

Сверху, в дверном люке, показалась голова Исы.

— Что взорвалось? — спросила она.

— Ничего, — хором сказали мы с Корром.

Иса посмотрела на Корра. На копоть. На меня.

— Горько, — сказала она и закрыла люк.

* * *

Совет собрали вечером, за длинным столом, при всех.

Стул Варда во главе стола стоял пустой, как всегда. Под ним дремал кот, которого Пип притащил с рыбного рынка, и никто не решился его прогнать. Уна сидела на своём месте у очага, чуть в стороне, будто это был не совет, а просто ужин, на котором почему-то все молчат.

Письмо с серым сургучом лежало посреди стола. Я положил его туда сам. Рядом — второе письмо, вчерашнее, от Орвина.

Орвин теперь учился в Ардейле. В школе при ратуше, куда ходили дети писарей и лавочников, и где он, по его словам, был самым старым и самым умным одновременно. Письмо было короткое и тревожное. Неделю назад в школу пришёл человек в сером пальто. Говорил с учителем. Потом с Орвином. Спрашивал про брата: пишет ли, откуда, что рассказывает про жуков. Орвин ответил, что брат пишет с ошибками, а больше ничего не знает. Человек записал что-то в книжку и ушёл.

А внизу, крупными, угловатыми буквами, прорывая бумагу:

«СНАЧАЛА ДЕЛО. ТОПОР ПОДОЖДЁТ. ВЕРНЁШЬ».

Я прочитал это вслух, при всех. Не знаю зачем. Наверное, чтобы все слышали, что меня отпустили.

— Твой отец, — произнесла Уна от очага. — Мне нравится всё больше.

— Итак, — сказала Иса и положила ладонь на серое письмо. — Столица. Отдел Реестра. Освидетельствование, — она произнесла это слово так, будто откусила от него и выплюнула. — Я узнавала. Реестр — это не суд. У Реестра нет судей, нет защитников и нет обжалования. Реестр смотрит, записывает и решает. А потом твоё имя либо остаётся в книге, либо переходит в другую книгу, и из той книги люди не возвращаются, — она подняла глаза. — Это суд без судей. Значит, туда нужен кто-то с зубами.

— Ты, — произнес Сорен.

— Я, — сказала Иса. — Я уже написала в столичную Палату, что Седьмая Опора посылает своего счетовода сопровождать члена гильдии. Имею право. Статья двенадцатая Устава.

— Я тоже еду, — сказал Сорен. — Мне в столице ещё никто не должен. Непорядок.

— Ты едешь, потому что лесоруб без тебя заблудится, — сказала Иса.

— Это тоже.

Рия сидела рядом со мной и молчала. Весь вечер. Я видел, как она крутит на пальце обгоревший край рукава — старую привычку, от которой никак не могла отвыкнуть.

— Кузнечиха, — сказала Уна. — Говори.

Рия подняла голову.

— В столице, — произнесла она. — Академия. Раз в год, весной, они проводят испытание для тех, кто не из домов. Для простых. «По милости Императора». Берут одного, двух. Иногда никого, — она покраснела. — Я хотела… Я не для того, чтобы уйти. Я просто хочу знать, чего я стою. Не у вас. Там.

Все посмотрели на Уну.

Уна выпустила дым.

— Поедешь, — сказала она. — Посмотришь, чего стоишь не у меня. Мне тоже интересно.

Бо шевельнулся под одеялами на диване.

— Я, — сказал он.

— Нет, — сказала Уна.

Бо посмотрел на неё. Она посмотрела на Бо.

— Ты держишь мост, — сказала Уна. — Вард велел держать. Нас дома трое будет: я, ты и Корр. И Дорн. И двое мальчишек, которые едят за пятерых. Кто-то должен держать.

Бо думал. Бо всегда думал так, что это было видно со стороны: лоб собирался складками, как кора, и медленно разглаживался. Потом он кивнул.

— Держу, — сказал он.

Корр ничего не сказал. Корр весь совет сидел в углу стола с доской на коленях и рисовал что-то мелом, стирал рукавом и снова рисовал. На доске были жуки. Большие, маленькие, круглые, продолговатые. И рядом с каждым — знак вопроса.

* * *

Ставки появились на доске к ночи.

Доска висела у двери, под ней — грифельная «КТО ГДЕ», и к ужину Иса стёрла в самом низу строчку «Тэйн — дома» и написала вместо неё, своими острыми буквами: «Тэйн, Сорен, Иса, Рия — столица». Посмотрела. Подумала. И приписала мельче: «До лета».

А на доске ставок кто-то вывел углём, крупно и криво: «ЛЕСОРУБ В СТОЛИЦЕ. СКОЛЬКО ПРОДЕРЖИТСЯ?»

Почерк был Пипа. Первая ставка тоже была его: «Неделю. 2 клиппа». Тоби, который писать ещё не умел, нарисовал рядом жука, а под жуком — очень много палочек. Корр поставил один сол на то, что «Реестр вернёт его сам, потому что он им всё взорвёт», — и это

было нечестно, потому что взрывал у нас только Корр. Сорен написал: «Всё лето. И привезёт оттуда должников». Бо подошёл последним, долго смотрел на доску, потом взял уголь и написал поверх всех одно слово, так, что уголь сломался:

«ВЕРНЁТСЯ».

И обвёл. Дважды.

Уна посмотрела на доску из-за котла и ничего не сказала. Но я видел, как она достала из кармана фартука клипп и положила его на край доски, прямо под словом Бо. Молча. Без записи.

* * *

Дорна я нашёл на нижней площадке, как всегда по вечерам.

Он сидел у сваи, локти на коленях, огромные руки сцеплены в замок, и смотрел на реку. Ярна под мостом не замерзала даже в самые лютые морозы — течение у опор было слишком быстрым, — и вода шла мимо чёрная, с белыми клочьями пены, и шумела. Дорн слушал её так, как иные слушают музыку.

Я постоял рядом. Потом сел на соседнюю ступень. Мы помолчали, как молчат в лесу, — не потому, что нечего сказать, а потому, что лес говорит лучше.

— Уезжаю, — сказал я наконец. — В столицу. Послезавтра.

Дорн не повернул головы. Но руки его расцепились. Одна ушла за пазуху, под мокрую от брызг куртку, и вернулась с ножом.

Нож был старый, короткий, тяжёлый. Клинок в ладонь, тёмный, в мелких щербинах, как у инструмента, которым долго работали, а не как у оружия, которым хвалятся. Рукоять обмотана просмолённым шнуром, так давно, что шнур почернел и стал гладким, как кость.

Дорн протянул его мне. Рукоятью вперёд.

Я взял. Нож лёг в руку тяжело, удобно, будто всегда там лежал.

— Спасибо, — сказал я. — Но я… зачем? У меня топор.

Дорн посмотрел на меня. Первый раз за всё время — прямо, долго, светлыми выцветшими глазами под седыми бровями. Я смотрел в них и думал о том, что говорил Корр: «У него не цвет. У него пепел». И о том, что говорила Уна у барж: «Один раз. И его не будет».

— Железо, — сказал Дорн. Голос у него был низкий, хриплый, будто им давно не пользовались. — Не всё берут жуки.

Он отвернулся к реке. Руки снова сцепились в замок.

Больше он в тот вечер ничего не сказал. Но я долго сидел рядом с ним, с ножом на коленях, и слушал, как шумит Ярна, и мне казалось, что я слышу её так же, как он.

* * *

Утро отъезда было серое и тихое. Ночью снова подморозило, и наружная лестница опоры покрылась тонким ледком, по которому Сорен съехал вниз с мешком на плече, не выпуская его и ругаясь с большим мастерством.

Пип и Тоби висели на перилах. Бо стоял в дверях, огромный, в своём одеяле, как в плаще. Корр сунул мне в руки свёрток — «потом разверни, не при Исе» — и сразу ушёл вниз, будто ему было неловко. Иса проверяла мешки по списку. Рия уже сидела на ступеньках с котомкой на коленях, бледная и решительная, как перед экзаменом.

Уна вышла последней. Остановилась передо мной на площадке, снизу вверх, как всегда.

— Слушай, — обратилась она ко мне. — Раз говорю, второй не буду. Там тебя будут звать. Деньгами, силой, почётом, правдой. Будут говорить, что только они знают, кто ты. Может, так и есть, — она вынула трубку изо рта. — Но решаешь всё равно ты. Не Реестр, не Корвиан, не я. Ты. Понял?

— Понял.

— Сколько?

— Десять. Своих.

Уна кивнула. Не удивилась, будто знала заранее.

— Вот и держи десять, — сказала она. — Остальное пусть лежит.

Мы собирались спуститься к лодке. Сорен уже отвязывал её от кольца. План был простой: лодкой до Моста Весов, оттуда до почтовой станции у Южных ворот, там дилижанс — дешёвый, медленный, тряский, две недели до столицы с ночёвками на постоялых дворах. Иса всё посчитала. «Расходы на дорогу возмещаются» — это было написано в письме, но Иса сказала, что Канцелярия возмещает расходы так же охотно, как Бо отдаёт последнее яблоко, и что платить будем сами, а потом судиться.

Наверху, на мосту, что-то загудело.

Не телега, не сани. Звук был ровный, низкий, как у большого кристалла, если положить на него ладонь. Люди на мосту остановились и начали оглядываться.

Мы поднялись по лестнице.

Посреди Старого моста, прямо над седьмой опорой, стоял экипаж. Длинный, чёрный, лакированный, на высоких колёсах, без лошадей — такие ездили по Верхнему городу, я видел их в первый день в Истмаре. Вместо козел спереди — медная рама с голубым кристаллом размером с голову, и кристалл гудел, и от него по раме бежали тонкие голубые искры. На дверце — никакого герба. Только маленький оттиск в углу, серый, выцветший: раскрытая книга и глаз над ней.

Дверца открылась.

Из экипажа вышел человек. Средних лет, среднего роста, в сером дорожном плаще, аккуратно застёгнутом до горла. Лицо у него было такое, какое забываешь, пока смотришь: ни шрама, ни родинки, ни улыбки. Гладко выбритый. Волосы тусклые, пепельные, прилизанные. Руки в серых перчатках.

Он огляделся. Нашёл глазами нас на лестнице. Меня.

— Тэйн из Тарвена, — сказал он. Голос у него был негромкий, вежливый и очень ровный. — Доброе утро. Меня зовут Ольс. Отдел Реестра поручил мне доставить вас в столицу. За счёт Канцелярии, — он чуть поклонился. — Как и обещано в письме.

Жук у меня на рукаве, который сидел там всё утро, светлый и спокойный, вдруг потускнел.

Не сразу. Медленно. Будто из него что-то вытекало. Я чувствовал его через нить — и чувствовал, как нить тянется. Не ко мне. К человеку в сером на мосту, за двадцать шагов от меня.

Ольс чуть наклонил голову и посмотрел на жука. На то, как он гаснет.

— Прошу прощения, — произнес он. — Это я. Не обращайте внимания, — и улыбнулся. Первый раз. Улыбка у него была такая же вежливая и ровная, как голос. — Садитесь. Дорога долгая.

Глава 3

Внутри экипаж был серый.

Серая обивка на стенах, серый бархат на сиденьях, серые занавески на окнах, серый ковёр под ногами, в котором тонули сапоги. Даже медные ручки на дверцах кто-то потрудился выкрасить в серое. Пахло воском, старой кожей и чем-то металлическим, как пахнет у кристаллов Службы. Кристалл впереди гудел ровно и негромко, и от этого гудения у меня под грудиной всё время что-то подрагивало, будто там натянули струну.

Мы сидели вчетвером на одном сиденье, плечом к плечу, с мешками на коленях. Ольс — напротив, один, свободно, с книгой.

Книга была толстая и скучная на вид, и он читал её с тем же ровным, вежливым вниманием, с каким смотрел на людей. Переворачивал страницы тихо, не слюнявя пальцев. Иногда что-то подчёркивал серым карандашом.

— Долго ехать? — спросил Сорен в первый же час. Он не умел молчать рядом с чужими. Считал, что молчание — это когда человек решает, как тебя обмануть.

— Шесть дней, — ответил Ольс, не поднимая глаз. — Дилижансом было бы четырнадцать.

— Быстро.

— Кристалл.

— А он не кончится?

— Кончится, — ответил Ольс. — Его заменят на станции.

— А кто?

— Люди, которые меняют кристаллы.

Сорен подождал продолжения. Продолжения не было. Ольс перевернул страницу.

Иса весь первый день смотрела на него не отрываясь. Я знал, зачем. К вечеру, когда мы остановились на станции и вышли размять ноги, она отвела меня в сторону, за колодец.

— Ничего, — сказала она тихо.

— Что — ничего?

— Он говорит, а я ничего не чувствую. Ни горько, ни кисло. Ни правды, ни лжи, — она облизнула губы, будто проверяя, на месте ли язык. — Как будто пьёшь воду. Пустую. Такого у меня не было никогда. Даже Бо, когда молчит, на вкус как хлеб.

— Может, он просто говорит правду?

— Правда тоже имеет вкус, лесоруб, — Иса посмотрела на экипаж, где в окне виднелся ровный серый силуэт с книгой. — А у него — нет. Он и это пьёт.

Рия ехала хуже всех. Экипаж качало не как телегу, а плавно, мягко, волнами, и ей от этого было дурно. Она сидела у окна с каменным лицом, держалась за ручку и на каждой станции выходила первой и долго стояла, дыша.

— У нас на хуторе, — сказала она мне на второй день, зелёная. — Всё ездит на лошадях. Лошадь хотя бы честно трясёт.

* * *

Свёрток Корра я развернул на второй вечер, в своей комнате на постоялом дворе, при свечке, когда Иса ушла спать.

Внутри был кожаный мешочек. В нём— шесть маленьких кристаллов, с ноготь каждый, голубых, мутных. И записка на обрывке, почерком, который прыгал вверх и вниз, как сам Корр по мастерской:

«Обезличенный. Не пей, если не придётся. Горько. Но если придётся — пей и не думай. И не больше, лесоруб. НЕ БОЛЬШЕ. Что-то другое. Я думаю. К.»

Слово «больше» было подчёркнуто трижды и прорвало бумагу.

Я положил мешочек за пазуху, рядом с янтарём. Янтарь был тёплый. Кристаллы — холодные. Они лежали рядом, как два чужих человека на одной лавке.

* * *

На третий день мы упёрлись в овраг.

Дорога шла на юг через лес — не такой, как у нас в Хольдмарке, а мягче, светлее, с дубами и грабами, с тёмными островками сосен на пригорках. Снег здесь уже сошёл, только лежал грязными пятнами в тени. Земля была сырая и чавкала. Весна шла нам навстречу, и с каждым днём её становилось больше.

Вместе с весной шла вода.

Мост через овраг снесло. Это был деревянный мост, крепкий, на дубовых сваях, я видел по остаткам: сваи торчали из бурой воды, как гнилые зубы, а сам настил унесло вниз, и на дне оврага, в двадцати шагах ниже, валялась перекрученная груда досок. Талая вода неслась по дну оврага с рёвом, мутная, быстрая, волоча ветки и лёд.

Экипаж остановился. Кристалл впереди загудел тише, недовольно.

Ольс вышел, посмотрел на овраг. Посмотрел на сваи. Кивнул сам себе, как человек, у которого всё идёт по расписанию.

— Мостовая команда будет через неделю, — произнес он. — На станции есть комнаты. Подождём.

— Неделю? — переспросил я.

— Самое раннее.

Я подошёл к краю оврага. Прикинул ширину — шагов пятнадцать от края до края, по верху. Сваи целы, три из четырёх. На том берегу, чуть выше по склону, стояли сосны. Не старые, лет по шестьдесят, ровные, как свечи. Три из них росли так, что если их повалить правильно, они легли бы через овраг почти ровно — верхушками на этот берег, комлями на тот.

Я знал это не глазами. Я знал это руками, спиной, тем местом под лопаткой, где у лесоруба живёт чутьё на падение. Отец говорил, что лес сам подсказывает, куда хочет лечь. Надо только уметь слушать.

— Не надо неделю, — произнес я.

Ольс посмотрел на меня. Не удивлённо. С интересом, как смотрят на жука под лупой.

* * *

Я перешёл овраг по сваям, прыгая с одной на другую. Сорен — за мной, легко, будто по ступенькам. Возница, пожилой, молчаливый, в сером, остался у экипажа. Иса и Рия — тоже.

Я выпустил восемь жуков.

Ольс стоял на том берегу, в двадцати шагах, и я чувствовал его, как чувствуешь сквозняк из щели. Жуки, которых я отпускал ближе к краю оврага, начинали тускнеть. Поэтому я ушёл вверх по склону, к соснам, подальше, и там, в тридцати шагах от него, жуки снова налились бурым светом.

Первую сосну я обошёл кругом. Постучал обухом. Приложил ладонь. Крона тяжелее на восточную сторону, к оврагу, — хорошо. Трещин нет. Ветер слабый, с юга, в спину.

— Подпил, — сказал я жукам и показал где.

Четверо легли на ствол у самой земли, со стороны оврага, в линию, как зубья пилы. И стали грызть.

Когда я грыз этой зимой с жуками бревно в мастерской Корра, четыре жука на подпил в пол-обхвата тратили минут десять. Сейчас стружка полетела так, будто кто-то включил жернов. Светлая, мелкая, пахучая, она сыпалась на мокрую землю, и через вдох в стволе был клин с ладонь глубиной. Через два — в полствола. Жуки гудели. Я чувствовал через них дерево, каждое волокно, как они поддаются одно за другим, и знал, где остановиться, чтобы сосна не пошла раньше времени.

Остальные четверо — на ту сторону, на запил. Чуть выше. Оставить недопил в два пальца, как учил отец. Не меньше, не больше.

— Сорен, — произнес я. — Отойди. Вон туда, за пень.

— А ты?

— А я тут.

Сосна вздрогнула. Недопил затрещал. И она пошла. Медленно сначала, как все большие деревья, будто думает, стоит ли. Потом быстрее. Верхушка описала в небе дугу, и сосна легла поперёк оврага с таким грохотом, что с того берега взлетели вороны. Комель подпрыгнул и лёг на край. Ствол прогнулся, дрогнул и затих. Ровно. Ровно так, как я хотел.

Сорен вышел из-за пня и посмотрел на сосну.

— Сколько это было? — спросил он.

Я не считал. Потом прикинул.

— Минута. Может, полторы.

— Зимой ты бревно грыз полдня.

— Зимой я был Эннисом.

Вторую сосну мы положили рядом с первой. Третью — чуть наискось, как раскос, чтобы две первые не разъехались. Потом я пустил жуков по стволам — снять сучья, стесать сверху кору, выгрызть неглубокие пазы, чтобы колёса шли не по круглому. Сорен и возница таскали и укладывали поперёк лапник и тонкие жерди. К полудню у нас был мост. Кривой, лесорубский, без единого гвоздя. Но мост.

Экипаж прошёл по нему медленно, покачиваясь, с гудящим кристаллом. Сосны прогибались и скрипели, но держали.

Ольс перешёл последним. Пешком. Остановился посреди моста, посмотрел вниз, на бурую воду. Потом на свежие срезы, на стружку, на аккуратный клин подпила. Достал из кармана маленькую серую книжку и что-то записал.

— Отец учил? — спросил он, проходя мимо меня.

— Отец.

— Хорошо учил, — сказал Ольс и сел в экипаж.

Я не понял, почему от этих слов мне стало холодно.

* * *

Засада случилась на четвёртую ночь.

Мы ночевали не на станции — станцию сожгло прошлой осенью, и новую ещё не построили, — а на старом дворе у дороги, который назывался Сорочьим. Постоялого двора там давно не было. Были каменные стены без крыши, конюшня с провалившейся кровлей, колодец и кострище посреди двора. Экипаж встал у колодца. Ольс ушёл спать внутрь, на серое сиденье, задёрнув серые занавески. Возница лёг под экипажем, на подстилке. Мы вчетвером разложились у костра, в углу двора, где уцелел кусок навеса.

Я проснулся от того, что жук на моём рукаве загудел.

Я держал на ночь троих — привычка с тех пор, как ночевал в опоре. Один сидел в балке навеса, другой в воротах, третий в конюшне. Тот, что в воротах, почувствовал шаги. Много шагов. Осторожных, тяжёлых, в сапогах, на мягкой весенней земле.

— Сорен, — тихо произнес я.

Сорен уже не спал. Он всегда просыпался раньше, чем я успевал его разбудить, как будто видел во сне на полвдоха вперёд.

— Сколько? — шепнул он.

— Восемь. Девять. Может, больше. Идут от леса. К экипажу.

— Кристалл, — ответил Сорен. — За кристаллом. Такой, как у них спереди, стоит больше, чем вся Кожевенная.

Иса проснулась и молча села. Рия спала. Я толкнул её в плечо.

Они вошли во двор не таясь. Им не надо было таиться: их было десять, и у них были топоры, тесаки и два арбалета. Трое — в кольчугах, остальные в толстых стёганых куртках, на которых кольчуги не было видно, но и так было ясно, что нож их не возьмёт. Факелы. Лица замотаны тряпками.

— Эй, у экипажа! — крикнул передний, здоровый, с топором на длинном топорище. — Отдайте камень — и спите дальше! Нам только камень!

Экипаж молчал. Серые занавески не шевельнулись.

— Ольс, — позвал я вполголоса. — Ольс!

Ничего.

Возница выкатился из-под экипажа, увидел факелы, топоры — и побежал. Не к нам. В темноту, за конюшню. Двое кинулись за ним, но передний свистнул, и они вернулись.

— Ладно, — сказал передний. — Сами возьмём.

Двое полезли к кристаллу с ломом.

— Он не выйдет, — тихо произнесла Иса. — Серый. Он нарочно.

— Что?

— Он смотрит, — добавила она. — Спорю на всё, что у меня есть. Он сидит там и смотрит, что ты будешь делать.

* * *

Мы пошли, потому что иначе было нельзя. Кристалл был не наш и нам не нужен — но если его вырвут, экипаж встанет посреди леса, а в экипаже спит человек, который везёт меня в столицу, и что бы про него ни думала Иса, оставлять его под топорами я не собирался.

Нет. Я вру. Я пошёл, потому что их было десять, а нас четверо, и Сорен уже встал.

Сорен встретил первых двоих у ворот. Одного он уложил сразу, рукоятью в висок, как на льду. Второй был в кольчуге и ударил топором — Сорен ушёл на полвдоха раньше, и топор врезался в столб ворот. Но на Сорена шли ещё трое, и видеть на полвдоха вперёд можно одного, двух, а не пятерых сразу.

Рия проснулась окончательно и ударила искрами. Ровно, молотом, в лицо ближнему. Тот заорал, закрылся рукавом, — и стёганый рукав погасил искры, как мокрая тряпка. Второй ударил её древком тесака в грудь. Рия отлетела к стене, ударилась спиной о камень и сползла вниз.

Я пустил жуков.

Всех восьмерых. Как на льду: в лица, в руки, в шеи. Жуки кусали. Жгуче, до крови. Люди ругались, махали руками, давили их — и шли дальше. Кольчуги жуки не прокусывали. Стёганку — едва. А тот, что с топором, передний, просто смахнул жука с лица рукавицей и даже не остановился. Под его рукавицей жук развеялся, и мне кольнуло в висок.

Тогда один из арбалетчиков выстрелил в Сорена.

Сорен увидел. Конечно, увидел — на полвдоха вперёд. И ушёл. Почти. Болт вспорол ему плечо, как ножом по мешку, и Сорен развернулся от удара, и на него сразу навалились двое.

Иса схватила из костра горящую жердь и пошла на них. Иса. С жердью. Которая за всю жизнь, кажется, не ударила никого, кроме Пипа по рукам.

А передний с топором повернулся ко мне.

Он шёл медленно. Он видел, что у меня только жуки, что жуки ему — как комары. Он улыбался под тряпкой — я видел, как тряпка шевельнулась. Топор он держал низко, на отлёт, как держат люди, которые много рубили. Не дерево.

Я выхватил из-за пояса отцовский топор.

И понял, что это не поможет. Что он больше, сильнее, и в кольчуге, и умеет, а я умею рубить сосны. Что Сорен лежит под двумя, а Рия у стены не шевелится, а Иса с горящей жердью против тесака. Что мои жуки кусают, но этого мало. Им не больно. А надо, чтобы было больно. Так больно, чтобы выпустили топор. Чтобы упали. Чтобы забыли, зачем пришли.

Ладонь обожгло.

Не зачесалась, как с жуками. Не кольнула иглой, как с вдовами. Обожгло, будто я схватил голой рукой горячую подкову. Я разжал пальцы, и из ладони пошли нити.

Жёлтые.

Яркие, как спелая айва на солнце, как пламя свечи у самого фитиля. Они сплетались быстро, зло, с высоким злым звоном, которого я никогда не слышал от своих жуков. Не круглое тело, а узкое, перехваченное посередине, как песочные часы. На брюшке — тёмно-золотые кольца, одно под другим. Крылья — тонкое кружево, почти невидимое, дрожащее так быстро, что его было не разглядеть. И на конце брюшка — игла. Самое плотное место плетения, сплошной свет, белый с жёлтым.

Оса.

Она сорвалась с моей ладони, как стрела с тетивы. Я даже не успел ей ничего приказать. Магическое насекомое, будто бы само знало, что ему делать.

Оса ударила переднего в запястье, в щель между рукавицей и кольчужным рукавом.

Незнакомец закричал.

Я много раз слышал, как кричат люди. Как Мамаша Клэй не кричала, как кричал Угорь в паутине, как кричали кристальщики, как Шип. Этот кричал не так. Он кричал, как кричат, когда ногу зажало в капкан. Высоко, по-заячьи, не стыдясь. Топор выпал у него из руки. Он схватился за запястье, упал на колени, потом на бок, и катался по мокрой земле, прижимая руку к животу, и выл.

Оса взвилась над ним, развернулась в воздухе и звенела.

Я смотрел на неё. На жёлтое. И на то, как у меня на ладони уже сплетается вторая.

Вторая ушла к арбалетчику, который перезаряжал. Ужалила в шею. Он выронил арбалет и сел. Просто сел в грязь и открыл рот, и не мог даже закричать.

Третья сплелась медленнее, и я почувствовал, что это дорого. Намного дороже жуков. Будто за каждую осу отдаёшь двух древоточцев. Трое из моих восьми погасли сами — нечем стало держать. Мне было всё равно. Третья оса полетела к тем двоим, что держали Сорена.

И ужалила моего согильдейца.

Прямо в бедро.

Она металась между тремя телами в куче, и выбрала — не того.

— А-а-а-а! — закричал Сорен таким голосом, каким я его никогда не слышал. — Лесоруб!!! Ты что?!!

Двое, что держали его, от неожиданности отпрянули. Сорен, воя, вывернулся, ударил одного коленом, другого рукоятью — зло, неряшливо, без обычного танца, — и откатился в сторону, держась за бедро.

Оса взвилась, развернулась и ударила того, что с коленом, в щеку.

Тот рухнул, как подрубленный.

* * *

Когда не можешь уже ничего, но стоишь на ногах, противник часто этого не знает.

У меня оставалось пять жуков и две осы. Одна — первая — развеялась сама, ужалив переднего второй раз, когда он попытался встать: отдала ему всё, что в ней было, и распустилась жёлтыми искрами. Я это почувствовал. Как будто вместе с жалом из неё вытекала она сама.

Но разбойники этого не знали. Они видели, что их передний катается по земле и воет. Что у одного арбалетчика шея раздулась, и он сидит в грязи и тихонько плачет. Что над двором кружат две жёлтые звенящие точки, и звон этот слышно, наверное, до самой станции. Что парень с топором, в которого они не верили, стоит посреди двора с поднятой рукой, а с его ладони капают жёлтые нити.

— Уходим! — крикнул кто-то.

Они ушли. Быстро. Утащив переднего за шиворот, как мешок. Бросив арбалет, топор, факелы в грязи.

Один на бегу обернулся. Не ко мне. К экипажу. К серым занавескам.

Я это видел. Сорен, лёжа на земле с бедром, это видел тоже. Мы переглянулись.

* * *

Иса бросила жердь в костёр и села прямо на землю. Руки у неё тряслись.

Рия зашевелилась у стены и попыталась встать. Я подошёл, подал ей руку. Она встала, держась за бок, белая, с кровью на губе.

— Ребро, — сказала она. — Кажется. Или два. Это что было? Жёлтое?

— Не знаю, — счестно ответил я. — Я не звал.

Сорен лежал на спине в грязи и смотрел в небо.

— Лесоруб, — произнес он. — Я тебя люблю. Ты мой лучший друг. Ты спас мне жизнь. — Он приподнял голову. — Если ещё раз эта жёлтая штука подлетит ко мне ближе, чем на десять шагов, я тебя зарежу. Честно. Иса, скажи ему, что это правда.

— Правда, — сказала Иса, не открывая глаз. — Сладко даже.

У Сорена было распорото плечо и опухало бедро. На бедре, прямо сквозь штаны, виднелось красное пятно, горячее на ощупь, будто туда приложили уголь. Я смотрел на него и чувствовал себя так, будто ужалил его сам.

Оса сидела у меня на запястье. Последняя. Звенела тихо, почти ласково. Жёлтая. Злая. Моя.

Дверца экипажа открылась.

Ольс вышел, держа в руке фонарь. Он был одет, застёгнут до горла, причёсан, как будто и не ложился. Он прошёл через двор, мимо брошенного топора, мимо следов в грязи, мимо Сорена, который приподнялся на локте и смотрел на него так, как смотрел на Мамашу Клэй. Подошёл ко мне.

Оса на моём запястье перестала звенеть.

Я почувствовал, как нить к ней натянулась. Как из неё начало утекать. Ольс стоял в двух шагах и смотрел на неё, как смотрят на редкую бабочку, и она тускнела, тускнела, из яркой айвы становилась бледной, как прошлогодняя солома.

— Не надо, — сказал я.

Ольс поднял глаза. И отступил на шаг.

Оса снова налилась жёлтым.

— Прошу прощения, — произнес он. — Привычка.

Он достал серую книжку. Раскрыл на колене, при свете фонаря, и написал несколько слов. Я видел, как движется карандаш, ровно, не торопясь. Потом он закрыл книжку, сунул её в карман и посмотрел на меня.

— Третий род, — сказал он медленно, будто пробовал слова на вкус. — У порождающего. В трактатах сказано, что так не бывает.

— Вы могли помочь, — сказал я. Голос у меня дрожал, и я ничего не мог с этим поделать.

— Мог, — согласился Ольс.

— Почему не помогли?

Он чуть наклонил голову, как тогда, на мосту.

— Потому что мне нужно было знать, что вы сделаете, когда никто не поможет, — ответил он. Просто. Без извинений. — Теперь я знаю, — он повернулся к экипажу. — Выезжаем через час. Ваш друг поедет лёжа. Возницу я найду.

* * *

Возница нашёлся за конюшней, живой, серый от страха. Мы выехали на рассвете. Сорен лежал на сиденье, положив голову Исе на колени и распухшую ногу мне на колени, и ругался

шёпотом, не повторяясь, целый час. Рия сидела у окна, прижав локоть к рёбрам. Ольс — напротив, с книгой, ровный, вежливый, серый.

Оса у меня на запястье уснула. Я не отпускал её. Боялся, что второй раз не позову.

К полудню дорога вывела нас из леса на перевал. Экипаж перевалил через гребень, и Рия, сидевшая у окна, вдруг выпрямилась и сказала:

— Ох.

Я наклонился к окну.

Внизу, в широкой долине, в дымке весеннего полдня, лежал город. Огромный. Больше Истмара втрое, вчетверо, не знаю во сколько. Он стоял на семи холмах, каждый — в белом камне и красной черепице, и между холмами тянулись арки. Огромные, в три яруса, одна над другой, каменные арки, по которым — я понял не сразу — шла вода. Не река. Вода, поднятая над городом, текла по камню по воздуху, с холма на холм.

Башни. Купола. Шпили, тоньше и выше, чем Шпиль в Истмаре. И нигде — ни одной реки. Ни одного моста.

— Аэвен, — произнес Ольс, не поднимая глаз от книги. — Добро пожаловать.

Глава 4

В Аэвене всё было не там, где положено.

Вода текла над головой. Я стоял у Северных ворот, задрав голову, и смотрел, как над нами, на высоте семи домов, по каменному жёлобу на вершинах трёхъярусных арок бежит вода, прозрачная и шумная. С края свисали последние сосульки и капали нам на головы. Под арками кричали торговцы, спали нищие, ржали лошади, и никто не смотрел вверх. Как никто в Истмаре не смотрел на мосты.

— Акведук Семи Арок, — пояснил Ольс, заметив, куда я смотрю. — Воду ведут с гор, за сорок миль. В городе нет реки.

— Совсем?

— Совсем. Аэвен стоит на сухом плато, — человек в сером поправил перчатку. — Удобно. Реку трудно держать в руках. А воду в камне — легко. Перекрыл — и город пьёт то, что ему дали.

Стража в белых плащах увидела оттиск на дверце экипажа и расступилась, не спросив подорожной. Сорен, лёжа на сиденье, приподнялся посмотреть в окно и присвистнул.

— Лесоруб, — протянул напарник. — Мы в Истмаре думали, что у нас Верхний город.

Аэвен весь был Верхним городом. Белый камень, красная черепица, мостовые из подогнанных плит, дома в пять этажей с каменными цветами на карнизах, медные водостоки в виде рыб, фонари на чугунных столбах через каждые двадцать шагов. Люди в шёлке, в бархате, в сукне таком тонком, что оно переливалось на солнце, как вода. Люди в сером — тоже, много, чаще, чем я хотел бы.

И ни одной реки. Ни одного моста. Только лестницы — бесконечные каменные лестницы, взбегающие с холма на холм, и арки акведука над ними.

Я вырос у реки и жил под мостом. Здесь я был как рыба на полке в лавке.

* * *

— Для вас подготовлены комнаты, — сообщил Ольс, когда экипаж остановился на широкой площади у подножия самого высокого из холмов. — В Доме гостей Реестра. Это рядом. Стол, прислуга, лекарь для вашего друга.

— Нет, — отрезала Иса.

— Нет? — вежливо переспросил Ольс.

— Нет, — повторила счетовод. — Член гильдии Седьмой Опоры, вызванный для освидетельствования, имеет право сам выбрать жильё. Статья двадцать шестая Устава гильдий, пункт второй. Жильё, предоставленное вызывающей стороной, может считаться, — она сделала паузу. — Местом содержания. А содержание без решения — задержанием, — Иса улыбнулась. У неё это выглядело так, будто кто-то расколол лёд. — Вы ведь не задерживаете нас, господин Ольс?

Чиновник смотрел на неё несколько мгновений. Потом тоже улыбнулся — ровно, вежливо, одними губами.

— Разумеется, нет, — ответил он. — Где вас искать?

Иса повернулась ко мне. Я растерялся. Я ничего не знал в этом городе, кроме того, что он белый и что в нём нет воды.

— В Кедровом квартале, — подал голос Сорен с сиденья. — Там северяне живут. Мне в Истмаре один лодочник рассказывал. Лесоруба там поймут.

Ольс кивнул, будто именно это и ожидал услышать.

— Вас вызовут, — предупредил он. — Не покидайте город.

Человек в сером вышел, поклонился и пошёл вверх по широкой белой лестнице, к серым воротам на вершине холма. Серое на белом. Ни разу не обернулся.

— Иса, — окликнул я. — А правда есть такая статья? Двадцать шестая?

— Есть, — кивнула Иса. — Про налоги с рыбных садков, — она облизнула губы. — Но он не проверит. Он пустой, но не дурак. Проверять — это признаться, что не знает.

* * *

Кедровый квартал стоял на Восточном холме, самом низком из семи, и был деревянный.

Мы почувствовали его раньше, чем увидели. Возница довёз нас до подножия холма — дальше улицы были слишком узкие, — и мы пошли вверх по кривому переулку, с Сореном на плечах у меня и Рии. В двадцати шагах от поворота на меня пахнуло домом.

Смолой. Лиственничной смолой, сухой, тёплой, чуть горькой. Так пахнет у нас в Тарвене весной, когда солнце впервые прогревает брёвна на срубах и из них выступают прозрачные янтарные капли. Я остановился. Сорен споткнулся и выругался.

— Ты чего?

— Лиственница, — выдохнул я.

Квартал был выстроен из неё весь: дома в два-три этажа из толстых почерневших брёвен, с резными наличниками и крутыми тесовыми крышами. Брёвна были хольдмаркские — я понял это сразу, по годовым кольцам на торцах, тесным, как у деревьев, что растут на холоде и растут медленно. Двести лет назад, сказала нам потом хозяйка «Смоляной бочки», северяне пришли строить столицу — каменщиков здесь хватало, а плотников не было, — и привезли с собой свой лес на плотах по Ярне, потом на телегах через перевал, и поставили себе свой квартал. Остались. Женились. Их внуки говорили с тем же тягучим северным выговором, что и мой отец.

Но главное было не это. Главное — галереи.

Дома стояли по обе стороны узких улиц, и на уровне второго, третьего этажа их соединяли крытые деревянные переходы. Как мостики. Как мосты — только над улицами, а не над водой. Галерея от дома к дому, от дома к следующему, через переулок, через двор. Люди ходили по ним, не спускаясь на землю, — бегали дети, хозяйки несли корзины, на одной галерее двое стариков играли в кости, на другой сушилось бельё. Весь квартал был связан ими, как паутиной. Можно было, наверное, пройти его из конца в конец, ни разу не ступив на мостовую.

— Мосты, — сказал я. — Смотри, Сорен. Здесь всё-таки есть мосты.

— Ага, — без восторга отозвался друг. — А у меня нога как бревно, — добавил он и смерил меня недовольным взглядом.

Видимо, тот укус он мне до сих пор простить не мог…

* * *

«Смоляная бочка» стояла на перекрёстке трёх переулков, под тремя галереями сразу, и вывеской ей служила настоящая бочка, почерневшая, подвешенная на цепях над дверью. Внутри было низко, тепло, пахло пивом и смолой.

Хозяйка вышла к нам из-за стойки, вытирая руки. Большая, с широким красным лицом, с толстой седой косой, уложенной на голове короной, с руками, которыми, наверное, можно было гнуть подковы.

— Откуда? — спросила она.

— Из Истмара, — ответила Иса.

Хозяйка посмотрела на меня. На топор за поясом. На мои руки.

— А ты откуда, парень? — спросила хозяйка. Уже по-другому.

— Из Тарвена. Хольдмарк. Под Ардейлом.

Её лицо расплылось в улыбке.

— Одда, — представилась она и хлопнула меня по плечу так, что я присел. — Я из-под Бэрроу. Соседи, почитай! Комнаты есть. Для земляка — дешевле, — женщина посмотрела на Сорена, висящего между мной и Рией. — А этого что, медведь драл?

— Оса, — мрачно буркнул Сорен.

Одда моргнула.

— Большая, видать, оса.

— Жёлтая, — уточнил раненый и посмотрел на меня.

* * *

Лекаря Одда позвала своего — старого, сухого северянина с узловатыми пальцами, который пах мятой и дёгтем. Старик зашил Сорену плечо, быстро и ловко, пока пациент рассказывал ему, что шить надо ровно, потому что на это плечо будут смотреть девушки. Потом лекарь посмотрел на бедро.

Красное пятно размером с ладонь горело, как ожог. Посередине — точка, светлая, будто изнутри.

— Это не оса, — покачал головой лекарь.

— Оса, — хором ответили мы с Сореном.

Лекарь наложил на бедро холодную мазь, пахнущую болотом: «Жгло — жгло, а вреда нет. Злая крапива». К утру у Сорена осталась только розовая точка. Но всю ночь друг изобретательно ругался, и я не спал тоже.

У Рии оказались треснуты два ребра. Лекарь перетянул ей грудь полотном: неделю без тяжёлого, а через месяц, к испытанию, «хоть саму Академию поднимай».

— А искры? — спросила Рия. — Можно?

— Это не ко мне, — развёл руками старик. — Я кости шью, а не искры.

* * *

На рассвете я спустился во внутренний двор «Смоляной бочки».

Двор был маленький, мощёный, с колодцем посередине и старым вязом в углу, и над ним, как над всеми дворами квартала, проходила галерея. Я сел на край колодца. Было холодно и тихо. Где-то наверху, на галерее, хлопнула ставня.

Я вытянул руку ладонью вверх и позвал осу.

Пришёл древоточец. Бурый, как всегда. Сел на ладонь и зашевелил усами.

Я пробовал снова и снова, думая о жёлтых нитях, о кружеве крыльев, о жале. Бурые.

Как с вдовами, подумал я. Корр тогда сказал: думать не о пауке. Думать о том, зачем.

Я закрыл глаза и вспомнил двор Сорочьего подворья. Передний с топором, улыбающийся под тряпкой. Сорен под двумя телами. Рия у стены. Иса с жердью. И то, что я тогда думал: надо, чтобы было больно. Не укус, не щипок — боль. Чтобы выпустил топор. Чтобы остановился.

Ладонь обожгло.

Я открыл глаза. Жёлтые нити, яркие, злые, со звоном. Оса сплелась за три вдоха и сразу поднялась в воздух, развернулась, как собака, которая ищет, на кого залаять. Жалить было некого. Насекомое металось над двором, звеня, и я чувствовал через нить — не мысли, мыслей у осы не было, — желание. Одно. Жалить.

— Сидеть, — приказал я.

Оса не села. Облетела вяз, двор, колодец и зависла у меня перед лицом, в ладони от глаз, дрожа крыльями.

— Сидеть, — повторил я. Мягче. Как говорил отец Пуговице, когда та начинала рыть копытом землю.

Оса опустилась мне на запястье. Сложила крылья. Звон стал тише, но не пропал. Она сидела, как сидит собака на цепи: смирно, но всем телом к воротам.

Жуки были как топоры — лежали, пока не возьмёшь. Вдовы — как верёвка. А оса была как огонь в горне: её не положишь на полку, и она всё время хочет наружу.

Я позвал вторую. Дорого — я почувствовал, как опустело под грудиной, будто я отдал двух жуков разом. Вторая оса села рядом с первой. Они звенели в два голоса, чуть вразнобой, и от этого у меня ныли зубы.

Третью я звать не стал. Корр мерил: десять жуков. Оса стоила как два. Три осы и четыре жука — вот мой потолок. И ещё то, сладкое, на дне, которое от звона ос шевелилось, как собака, услышавшая другую собаку.

— Эй, — окликнули сверху.

На галерее, над двором, стоял Сорен. Опираясь на перила, в рубашке, с перевязанным плечом. Друг смотрел вниз, на моих ос.

— Не подходи, — предупредил я. — Я не уверен, что они меня слушаются.

— Я не подхожу, — ответил Сорен. — Десять шагов, как договаривались, — он разглядывал ос с безопасного расстояния, как разглядывают чужую злую собаку. — Лесоруб. Знаешь, что я понял этой ночью, пока не спал?

— Что?

— Что ты мне этим жалом спас жизнь, — серьёзно произнёс напарник. — Эти двое уже тянулись к ножу. Я видел. Полвдоха оставалось. А потом прилетела твоя жёлтая дрянь, и они от меня отскочили, — Сорен поморщился. — Больно было ужасно. Я думал, умру. Но они отскочили.

— Я не хотел.

— Знаю, что не хотел. Потому и говорю, — друг усмехнулся. — Ты мне в следующий раз скажи заранее, когда будешь спасать, ладно? Я хоть отвернусь.

* * *

После полудня мы с Сореном пошли в город.

Иса дала нам список: хлеб, сыр, мазь для Сореновой ноги, свечи, бумага, чернила. И кошелёк. Кошелёк был лёгкий. Счетовод считала вслух, выдавая монеты, и с каждой монетой её голос становился мрачнее.

Через час мы поняли почему. Похлёбка в самом дешёвом кабаке у подножия холма стоила восемь клиппов. В Истмаре — три. Хлеб — вдвое. Свеча — втрое. Место на лавке в ночлежке для грузчиков — сол. Целый сол за ночь на лавке! Сорен остановился посреди улицы, посмотрел на вывеску с ценами и выдал такое слово, которого я не слышал даже от Галта.

— Мы тут разоримся за месяц, — простонал он.

—Иса сказала — за три недели.

— Иса оптимист.

По дороге Сорен захотел зайти в Палату гильдий — столичную, огромную, с колоннами и с бронзовыми дверями, в которые можно было въехать на телеге. Внутри был зал втрое больше истмарского, и в нём толпились люди в куртках всех цветов. Над ними под потолком висели гербы — сотни, в три ряда: сорок великих гильдий столицы, потом гильдии больших городов, а дальше, до самых дверей, мелкие, облезлые, с какими-то козами, мельницами и вёдрами на щитах. У доски контрактов стоял писарь в чёрном, худой, в очках на цепочке.

— Седьмая Опора, — сообщил Сорен писарю и показал свой жетон. — Истмар. Патент пятой степени. Нам бы контракт. Любой. Хоть мышей.

Писарь посмотрел на жетон, на моего друга, на меня.

— Истмар, — повторил он. — Седьмая… — Писарь запнулся. И произнёс тише, так, как говорят о ком-то, кто может стоять за спиной: — Под мостом? Опора Варда?

— Она, — подтвердил Сорен.

Писарь снял очки. Протёр их. Надел.

— Контракты для гильдий из провинции — только через месяц после регистрации в столице, — сказал он. Обычным голосом. — Такое правило, — потом снова тише: — Но я запишу вас сегодняшним числом. И если что будет… я скажу, — чиновник посмотрел по сторонам. — Передайте мастеру Варду, что Ферн из Палаты его помнит.

— Передам, — пообещал Сорен. — Когда увижу.

У выхода, между колоннами, стена была из бронзы.

Не вся — только полоса в человеческий рост, от угла до угла, тёмная, потёртая руками до блеска на уровне пояса. По ней столбцами шли имена. Над ними крупные литые буквы: «ТУРНИР СЕМИ ХОЛМОВ. ПОБЕДИТЕЛИ». Раз в пять лет — одно имя, год, гильдия или дом. И под каждым именем — короткая строчка мелким шрифтом: «Прошение исполнено».

Я читал, пока Сорен ругался с дверью, которая открывалась внутрь. Кассий Орре, «Золотой Круг», Аэвен. Мерис Вэлмонт, «Дом Колоколов», Аэвен. Снова Орре. Академия. «Золотой Круг». Академия. Сто лет — великие гильдии столицы и Академия, а фамилии почти всё одни и те же, старые. Ни одного Бэрроу, ни одного Ардейла. Ни одной гильдии из тех, что сидят в двух комнатах над пекарней.

И одно имя — не такое.

«Роан Вард. Седьмая Опора. Истмар».

Двадцать четыре года назад. Бронза под его именем была гладкой. Строчки «Прошение исполнено» не было. На её месте металл был стёсан — ровно, аккуратно, резцом, так, что остался только светлый шрам.

— Сорен, — позвал я.

Друг подошёл. Прочитал. И долго стоял, не говоря ни слова, — так долго, что какой-то писарь обошёл нас по дуге.

Рядом с бронзой висел лист, свежий, с печатью Палаты: «Следующий Турнир Семи Холмов — будущим летом, в Аэвене. Каждая гильдия Империи, внесённая в реестр Палаты, — столичная, городская или сельская — вправе выставить своих кандидатов. Не старше двадцати пяти лет, не ниже второй ступени. Победитель получает право одного прошения к Императору».

— Одного прошения, — медленно повторил Сорен. — К Императору, — он потрогал стёсанную бронзу под именем Варда. — Я одиннадцать лет живу под мостом. Я знаю Варда с двенадцати. Он учил меня держать нож. И никто — никто, лесоруб, — ни разу не сказал мне, что он выиграл Турнир.

— И что он попросил, — добавил я.

— И что он попросил, — эхом отозвался напарник. — Что можно попросить у Императора, чтобы потом это стёсывали резцом?

* * *

Иса ждала нас в комнате, над раскрытой книгой, со свечой.

Счетовод выслушала про цены и про Ферна молча, потом написала три строчки и повернула книгу к нам.

«Жильё — 4 сола в неделю (Одда, земляческая скидка). Еда — 5 солов в неделю, если Сорен не будет заказывать вино. Лекарь — 1 сол (уплачено)».

— У нас с собой девятнадцать солов и два ауреона, — сообщила Иса. — Два ауреона — неприкосновенные: это на обратную дорогу, если Реестр не заплатит, а он не заплатит. Значит, девятнадцать солов. Считайте сами.

— Две недели, — прикинул Сорен.

— Две недели и три дня, если Сорен не будет заказывать вино, — Иса закрыла книгу. — Контракты через месяц. Значит, через две недели и три дня мы начинаем есть лесоруба.

— Почему меня?

— Ты самый большой, — невозмутимо пояснила счетовод. — После Бо. А Бо дома.

Сказано было без улыбки, и я понял, что это шутка, только когда Сорен захохотал и схватился за плечо.

* * *

В сумерках я вышел на галерею.

Галерея начиналась у окна нашей комнаты — нужно было перелезть через подоконник, — и тянулась через переулок к дому напротив, крытая, скрипучая, с резными перилами,

отполированными тысячами ладоней. Я встал посередине. Подо мной, в переулке, зажигали фонари. Надо мной — тёсовая крыша галереи, и через щели в ней было видно первые звёзды.

А впереди, над крышами квартала, лежал Аэвен. Семь холмов в огнях. Самый высокий — Серый двор, тёмный, почти без окон, как камень, брошенный в костёр и не загоревшийся. На западном холме — Академия: белые башни, тонкие, как иглы, и в каждой горело по голубому огню, так что казалось, будто на холм воткнули пучок свечей. Арки акведука тянулись через весь город чёрными силуэтами, и под ними, в их тени, копошились огоньки поменьше — лавки, кабаки, ночлежки.

Скрипнули доски. Рия перелезла через подоконник, осторожно, держась за бок, и встала рядом.

— Вон она, — кузнечиха кивнула на западный холм.

— Академия?

— Ага, — Рия долго смотрела на башни. — Отец говорил, что туда берут только тех, у кого руки мягкие, — девушка посмотрела на свои ладони, красные, в старых ожогах от горна. — Через месяц узнаю, прав ли он.

— Ты хочешь туда?

— Не знаю, — честно призналась Рия. — Я хочу, чтобы меня туда позвали. А пойду или нет — потом решу, — она покосилась на меня. — А ты? Чего ты боишься, лесоруб? Я же вижу. Ты на Сорочьем дворе три осы позвал, а мог больше. Я видела, как у тебя рука остановилась.

Я не ответил сразу. Внизу, в переулке, прошёл фонарщик с длинным шестом, и фонари вспыхивали за ним один за другим.

— На дне, — наконец ответил я. — Осталось от Сердца. Чужое. Когда зову много, оно просится наружу. Сладкое такое. Будто можно ничего не делать, просто открыть — и всё само, — я пожал плечами. — Корр говорит, правильно, что боюсь.

Кузнечиха кивнула. Не удивилась.

— У отца в кузне, — задумчиво проговорила она. — Самый опасный жар знаешь какой? Не тот, что обжигает. Тот, что тянет. Когда железо уже белое и само просит — ещё, ещё, ещё. Кто послушает — сожжёт заготовку. Отец говорил: жар, который просит, надо не слушать. Надо считать, — Рия криво улыбнулась. — Я тогда думала, он про железо.

* * *

Вечером в «Смоляную бочку» пришла девушка в сером.

Я увидел гостью от стойки, где помогал Одде таскать бочонки. Она стояла в дверях, маленькая, худая, в серой куртке Реестра не по плечам, и оглядывала зал, как зверёк поляну. Пальцы у неё были в чернилах — не чуть-чуть, а до самых костяшек, как у человека, который пишет весь день.

— Вейра Тамм! — закричала Одда через весь зал. — А ну иди сюда! Твой отец мне лестницу на галерею так и не доделал!

Девушка вздрогнула, покраснела и подошла к стойке.

— Здравствуйте, госпожа Одда, — пролепетала она. — Он доделает. Он обещал, — потом повернулась ко мне. — Вы — Тэйн из Тарвена?

— Я.

Посыльная достала из сумки конверт. Серый сургуч, раскрытая книга, глаз над ней. Протянула обеими руками, как подают прошения, и произнесла громко, отчётливо, заученно, так, чтобы слышал весь зал:

— Отдел Реестра при Имперской Канцелярии извещает Тэйна из Тарвена о назначенном освидетельствовании. Завтра. Третий час после полудня. Серый двор, Железный зал. Явка обязательна.

Весь зал затих. Одда перестала вытирать стойку.

Я взял конверт.

Вейра не ушла. Она стояла, глядя на меня снизу вверх, и я видел, как у неё двигаются губы, будто девушка спорит сама с собой. Потом она наклонилась через стойку, будто поправить ремень сумки, и прошептала, почти не шевеля губами, так, что услышал только я:

— Там ничего не пейте. Ни воды, ни вина. Даже если будут предлагать. Особенно если будут предлагать.

— Почему?

Но Вейра уже выпрямилась, поклонилась Одде и пошла к двери быстро, не оглядываясь, маленькая, серая, с чернильными пальцами. На пороге всё-таки обернулась. На миг. Посмотрела на меня так, как смотрят на человека, которого провожают на лёд в оттепель.

И ушла.

Я вскрыл конверт у стойки. Там было всё то же, что сказала посыльная: завтра, третий час, Серый двор. И внизу, мелким писарским почерком, приписка, которой не было в её словах:

«Помещение освидетельствования: Железный зал. Стены, пол и потолок обшиты железом. Деревянные предметы вносить запрещено».

Я долго смотрел на эту строчку.

Потом поднял глаза. Сорен сидел у окна, с кружкой, и смотрел на меня. Друг понял раньше, чем я сказал.

— Жукам там нечего грызть, — произнёс я.

— Ага, — кивнул Сорен. — И топор не возьмёшь.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.